

Максим Горький

Калинин



Максим Горький

Калинин

«Public Domain»

1912

Горький М.

Калинин / М. Горький — «Public Domain», 1912

«Осень, осень – свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные волны, – в белых гривах мелькают, точно змеи, черные ленты водорослей, и воздух насыщен влажной соленой пылью. Сердито гудят прибрежные камни; сухой шорох деревьев тревожен, они качают вершинами, сгибаются, точно хотят вырвать корни из земли и бежать в горы, одетые тяжелой шубой темных облаков. Над морем облака изорваны в клочья и мчатся к земле, обнажая бездонные синие пропасти, где беспокойно горит осеннее солнце. Тени скользят по изрытому морю; на земле ветер прижимает тучи к острым бокам гор, тучи устало ползут вверх и вниз, забились в ущелья и дымно курятся там...»

Максим Горький

Калинин

Осень, осень – свистит ветер с моря и бешено гонит на берег вспененные волны, – в белых гривах мелькают, точно змеи, черные ленты водорослей, и воздух насыщен влажной соленой пылью.

Сердито гудят прибрежные камни; сухой шорох деревьев тревожен, они качают вершинами,гибаются, точно хотят вырвать корни из земли и бежать в горы, одетые тяжелой шубой темных облаков.

Над морем облака изорваны в клочья и мчатся к земле, обнажая бездонные синие пропасти, где беспокойно горит осеннее солнце. Тени скользят по изрытому морю; на земле ветер прижимает тучи к острым бокам гор, тучи устало ползут вверх и вниз, забились в ущелья и дымно курятся там.

Всё вокруг нахмурено, спорит друг с другом, сердито отемняется и холодно блестит, ослепляя глаза; по узкой дороге, прикрытой с моря грядою заласканных волнами камней, бегут, гонясь друг за другом, листья платанов, черноклена, дуба, алычи Плеск, шорох, свист – всё скипелось в один непрерывный звук, его слушаешь, как песню, равномерные удары волн о камни звучат, точно рифмы.

– Разыгрался Змиулан, океанский царь! – кричит в ухо мне мой спутник, высокий, сутулый человек, с круглым лицом ребенка и светлым взглядом прозрачных детских глаз.

– Кто?

– Царь Змиулан...

Молчу, – никогда не слыхал про такого царя.

Ветер толкает нас, желая загнать в горы; его напор так силен, что иногда мы останавливаемся, повернувшись спинами к морю, широко расставив ноги, опираемся на палки и с минуту стоим как бы на трех ногах, а мягкая тяжесть давит нас, срывая платье.

Мой спутник кряхтит, как в бане на полке, а мне – смешно: уши у него большие, вялые, точно у собаки, выгоревшая скуфейка не прикрывает их, и, загнутые ветром вперед, они придают его маленькой голове уморительное сходство с глиняным рукомойником. Солидный, длинный нос, словно чужой на мелком лице, – он еще более усиливает смешное сходство, являясь рыльцем рукомойника.

Странное у него лицо, и весь он – необычный, чем и пленил меня сразу же, как только я увидел его в церкви Ново-Афонского монастыря, за всенощной. Выпрямив сухое, тонкое тело, склонив голову чуть-чуть набок, он смотрел на распятие и, шевеля тонкими губами, улыбаясь сияющей улыбочкой, казалось, беседовал со Христом, как с добрым другом. На круглом, гладком лице – без бороды, точно у скопца – с двумя светлыми кустиками в углах губ, светилося никогда не виданное мною выражение интимности, сознания исключительной близости с сыном Божиим. Это ясное отсутствие обычного – рабьего, пугливого отношения к своему богу – заинтересовало меня, и всю службу я с великим любопытством наблюдал, как человек беседует с богом, не кланяясь ему, очень редко осеняя себя знаменем креста, без слез и вздохов.

После ужина в рабочей казарме я пошел в странноприимную и там, в светлом круге под лампой, опускавшейся с потолка, увидел его за столом, среди женщин и мужчин богомольцев, услышал негромкий, но какой-то светлый голос – внятную, полновесную речь проповедника, привыкшего говорить с людьми.

– Иное, конечно, надобно показать, иное – надо скрыть; ибо – ежели что бестолковое и вредное – зачем оно? Так же и напротив: хороший человек не должен высываться вперед – глядите-де, сколь я хорош! Есть люди, которые вроде как бы хвастаются своею горькой судьбой: поглядите, послушайте, добрые люди, как горька моя жизнь! Это тоже нехорошо...

Чернобородый человек в поддевке, с темными глазами разбойника на иссохшем лице аскета, встал из-за стола, медленно расправил мощное тело и глухо спросил:

– А вот у меня жена и сынишко сожглись живьем в керосине – это как? Молчать об этом? Несколько секунд все молчали. Потом кто-то негромко проворчал:

– Опять...

И тотчас в углу – в душном сумраке – родился уверенный ответ:

– Божие наказание за грехи...

– В три года – грехи? Ему три года было... это он и опрокинул лампу на себя, а она его схватила и загорелась сама... слабая была, на одиннадцатый день после родов...

– За грехи отца-матери, – по-прежнему уверенно выползли слова из угла. Чернобородый, должно быть, не слышал их, – разводя руками, рассекая ими воздух, он торопливо, без удержу, подробно сказывал о том, как сгорели жена и сын, – чувствовалось, что он говорит об этом часто и долго не кончит свой ужасный рассказ. Его мохнатые брови сошлись в одну черную полосу, под ними, налитые кровью, блестели белки глаз и тревожно перекатывались матовые черные зрачки.

Но вот в маленький промежуток его угрюмой речи втиснулся свободно и бодро светлый голос христолоубивого странника:

– Это неправильно, землячок, винить господа бога за неловкий случай или за ошибку и за глупость...

– Стой, – ежели – бог, то отвечает за все!

– Нет, никак! Дан тебе разум...

– Что мне – разум, ежели я не могу понять?..

– Чего?

– А того... всего! Почему – моя жена сгорела, а – не соседова, ну?

Злой старушечий голос отчетливо проговорил:

– Ай-яй-яй! В монастырь пришел, а – воюет...

Чернобородый гневно сверкнул глазами, склонил голову, как бык, но вдруг, махнув рукой, быстрыми шагами, грузно топая, пошел к двери, – странник не торопясь встал, закачался и, всем кланяясь, тоже стал двигаться вон из странноприимной.

– Наскрозь огорченное сердце, – сказал он, улыбаясь.

Мне показалось, что в улыбке этой нет сострадания.

А из угла кто-то снова инеодобрительно сказал:

– Любит он историю эту размазывать...

– И напрасно, – остановясь в дверях, заключил странник, – только ведь терзает себя и других! Про такие дела забывать надо...

Через минуту я выхожу на двор и слышу у ворот ограды его спокойный голос:

– Ничего, отец, не беспокойся...

– Гляди, – сердито говорит привратник, отец Серафим, здоровенный ветлужанин, – по ночам тут абхаз голодный бродит.

– Мне абхаз не вреден... Я тоже иду к воротам.

– Куда? – спрашивает Серафим, приблизив ко мне свое волосатое, звериное и бесконечно доброе лицо. – Ага, это ты, нижегороцкой! Напрасно, поди-ка, беспокоишь себя – бабы-то все спать полегли...

И смеется, – рычит, как медведь.

За оградой великая тишина осенней ночи – усталая тишина земли, истощенной летом. Сладко пахнет увядшими травами и еще чем-то осенним, возбуждающим бодрость. Черные деревья висят в теплом и влажном воздухе, точно обрывки туч. Во тьме чуть слышно вздыхает, ластится к берегу полусонное море; небо окутано облаками, только в одном месте среди них опаловое пятно луны, и далеко на темной воде колыхнется другое, такое же...

Под деревьями – скамья и на ней человечья фигура, округленная гьмою; подхожу, сажусь рядом.

– Откуда, земляк?

– Воронежский. А ты?

Русский человек всегда так охотно рассказывает о себе, точно не уверен, что он – это именно он, и хочет, чтобы его самоличность была подтверждена со стороны, извне. Рассеялись люди по большой земле, и чем более ясна им ее огромность, тем как будто меньше становятся они в своих глазах; плутают по тысячеверстным дорогам, теряя себя, а если встретится случай рассказать о себе – расскажет подробно всё пережитое, виданное и выдуманное. И всего чаще в рассказах этих слышишь не утверждение:

«Вот – я!» а вопрос:

«Я ли это?..»

– Тебя как звать?

– Очень просто: Алексей Калинин!

– Ты мне – тезка.

– Ну?

И, дотронувшись рукою до моего колена, он говорит:

– Тезка, у меня – известка, у тебя – вода, айда – штукатурить города!

... Звонят в тишине невысокие, легкие волны; за спиною угасает хлопотливый шум хозяйственного монастыря, светлый голос Калинина немножко погашен ночью, звучит мягче, менее уверенно.

– Мать моя – была нянька, я у нее пригульный и с двенадцати лет – лакей, это – из-за высокого роста. Тут вышло так: поглядел на меня однажды генерал Степун – материн барин – и сказал: «Евгенья, скажи-ка Федору», – лакею же, старичку из солдат, – «чтобы он приучал сына твоего служить за столом, – он вполне вырос для этого!» И служил я у генерала девять лет, лето в лето. Потом, случилось... потом – захворал я... У купца, градского головы, служил двадцать один месяц. В Харькове, в гостинице, с год... всё чаще приходилось менять места, хотя я слуга аккуратный, трезвый, да – осанки нет у меня настояще-должностной... Главное же – характер образовался гордый, не идущий к делу... я назначен служить самому себе, а не людям...

Сзади нас, по шоссе, в направлении к Сухуму, идут невидимые люди, сразу понятно, что они не привыкли ходить пешком, – шаркают ногами по земле тяжело. Красивый голос тихо запекает:

Выхожу один я на дорогу...

Слово – один – громче других и, подчеркнутое, звучит печально.

Гулкий бас говорит лениво и внятно:

– Афон... Афония – потеря речи, до степени... до какой степени, мудрая Вера Васильевна?

– Почти до полной утраты членораздельности, – отвечает молодой женский голос.

Во тьме над землею призрачно плывут два черных пятна и между ними – белое.

– Странно!

– Что?

– Слова здесь какие-то... намекающие! Гора – На-копиоба. Они тут накопили достаточно... умеют копить!

– А я не могу запомнить: Симон Канонит, и всегда говорю – каинит...

– Знаете что, господа? – как-то нарочито громко говорит красивый голос. – Смотрю я на всю эту красоту, дышу тишиной и думаю: а что, если бросить всё, ко всем чертям, и – жить...

Монастырский колокол, сухо отбивая часы, заглушил речь. Потом издали тоскливо донеслось:

О, если б в единое слово-о
Излить все, что на сердце есть!..

Мой сосед, вслушиваясь, странно наклонился набок, точно слова гуляющих людей тянули его за собою, а когда голоса потерялись вдали, он выпрямился и сказал, вздыхая:

– Вот: видно, что образованные люди, говорят обо всем, а – однако то же самое...

– Что?

– Да – слышал? – не сразу ответил он. – Бросить, говорит, надобно всё...

Наклонился ко мне, всматриваясь, точно близорукий, продолжал полушёпотом:

– Всё больше людей думают этак – бросить надо всё! И я тоже: долгие годы соображал – зачем служу, какая выгода? Ну – двенадцать, двадцать, хоша бы и пятьдесят рублей в месяц – что ж такое? А человек где? Может быть, для меня полезнее ничего не делать и в пустое место смотреть... сидеть вот так ночью и смотреть... и больше ничего!

– Ты что давеча говорил людям?

– Каким это?

– В странноприимной, бородатому?

– А! Не люблю я этого... людей этих, которые разносят по земле свое горе, бросают его под ноги всякому встречному... Что такое? Каждый сам по себе... Какая мне надобность в чужой слезе? Своя довольно солона... К тому же всякий, свое-то горе любя, считает его самым замечательным и горьким на земле. Знаю я это...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.